

*Моей жене Орее,
которая обихаживала мой ментальный сад,
чтобы в нем выросли «Цветы»*

Часть первая

ЛАБИРИНТ ВРЕМЕНИ

Глава 1

МЕНТАЛЬНЫЙ ПОГРЕБОК

Никогда не думал, что со мной такое случится.

В ранней юности близорукость у меня была 20/400¹; стоило снять очки — перед глазами все расплывалось. Я не сомневался, что однажды совсем ослепну.

Я готовился к слепоте. Завел особый порядок вещей — чтобы все они находились под рукой и чтобы каждая имела собственное неизменное место. Я завязывал глаза и тренировался искать разные предметы на ощупь; я гордился собой, когда это получалось быстро.

Я не ослеп. В очках я вижу дай бог каждому.

Я по-прежнему могу, не вставая со стула, дотянуться практически до любой нужной вещи. Не потому, что хорошо помню, что где лежит. А потому, что выделяю специальное время на наведение порядка и при этом включаю логи-

¹ Человек с такой степенью близорукости способен различить только буквы в самой верхней строке таблицы для проверки зрения. (*Здесь и далее прим. перев.*)

ку. Остается только вспомнить, что где ДОЛЖНО лежать. Но со мной происходит неподвиженное. Я приступаю к какому-нибудь делу, куда-нибудь направляюсь или просто вхожу в другую комнату — и замираю. Что конкретно я ищу? Ответ является в форме ментального щелчка. Целое мгновение мне жутко. И всякий раз я думаю о Чарли Гордоне — об одной из его последних фраз в рассказе «Цветы для Элджернона»: «Я помню што я зделал штото но непомню што»¹.

Персонаж, которого я придумал сорок с лишним лет назад, нейдет у меня из головы. Я его гоню — он ни с места.

Чарли меня преследует; надо выяснить почему.

Вот что я решил: единственный способ унять Чарли — это вступить в лабиринт времени с другого конца, пройти его до начала, доискаться истоков, изгнать призраков прошлого. Может, заодно я выясню, когда, как и почему стал писателем.

Самое трудное — начать. Материал уже есть, говорю я себе; не нужно ничего придумывать. Просто вспомни. Разложи по полочкам. Не понадобится прорабатывать интонации лирического героя, как для новеллы и романа. На сей раз,

¹ Здесь и далее рассказ «Цветы для Элджернона» цитируется по новому переводу.

Дэн, ты сам — лирический герой. Ты пишешь о том, КАК ты пишешь; выживаешь сокровенное из собственной жизни, которая стала жизнью Чарли Гордона.

В голове моей эхом отзывается первая строка «Цветов»: «Доктор Штраус говорит мне надо писать што думаю и што случаетца сомной начиная с сиводньнешнево дня. Я незнаю зачем но он сказал это важно потамушта тогда они поймут гожусь я им или нигожусь. Я надеюсь што гожусь. Мисс Кинниан говорит может они зделают меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон...»

Даром что приведенный абзац — первый в оригинальном рассказе, началось все иначе. Равно как и последние слова «...положите цветиков Элджернону на могилку она на задним дворе...» — не конец истории. Я отчетливо помню, где был в тот день, когда в моем мозгу впервые замелькали идеи, на которых затем строилось повествование.

Морозным апрельским утром 1945 года я вышел к станции нью-йоркской подземки под названием «Саттер-авеню». До поезда, который домчал бы меня из бруклинского района Браунсвилль на Манхэттен, было минут десять-пятнадцать. Там, на Манхэттене, мне следовало пе-

ресесть на местную линию и уже по земле ехать до Вашингтон-сквер. Я направлялся в Университет Нью-Йорка. Помню, я ждал поезда и думал: где взять денег на осенний семестр? Первый курс еще не кончился, а мои сбережения (плоды трудов на нескольких работах) были на исходе. Еще на три года их определенно не хватило бы.

Я заранее приготовил пятицентовую монетку — столько стоил проезд — и вдруг взглянул на нее иначе. Вспомнился папин рассказ. Мой папа Вилли однажды сознался, что в Великую депрессию ходил пешком по двадцать миль в день. Мы жили в Бруклине, в двухкомнатной квартирке. Так вот, папа каждое утро шагал через весь Бруклин и дальше по Манхэттенскому мосту — это десять миль; а каждый вечер возвращался той же дорогой — еще десять миль. И все для того, чтобы сэкономить две пятицентовые монетки.

Как правило, папа трогался в путь еще затемно, когда я спал; но иногда я просыпался до его ухода и успевал поглядеть, как папа за кухонным столом макает рогалик в кофе. Это был весь его завтрак. Меня кормили горячей кашей. Время от времени я даже получал целое яйцо.

Завтракая, папа смотрел прямо перед собой. Взгляд его был пуст, что давало мне повод думать, будто и голова у папы в такие моменты пуста. Сейчас я понимаю: папа пытался со-

образить, как нам выпутаться из долгов. Закончив с кофе, он вставал из-за стола, трепал меня по макушке, говорил: «Веди себя хорошо. Не отлынивай от уроков». Я воображал, что папа уходит на работу. Лишь много позже я узнал, как он стыдился, что работы не имеет.

Возможно, подумал я, монетка в моей ладони — как раз из тех, сэкономленных папой.

Я сунул монетку в щель, миновал турникет. Однажды я проделаю папин путь; тоже пройду пешком из Браунсвилля до Манхэттена. Прочувствую, каково было папе. Так я себя настроил. Но маршрут папин не повторил.

Наверное, впечатления и образы, подобные этим, улеживались у меня в голове, словно корнеплоды в погребе; пребывали во тьме, пока не потребовались для литературных опытов.

У большинства писателей есть собственные метафоры для клочков воспоминаний. Уильям Фолкнер, к примеру, называл свой кабинет мастерской, а ментальное хранилище — лесопилкой, с которой он таскает «пиломатериал» для строительства прозы.

Мое ментальное хранилище — это закуток в погребе нашего арендодателя, как раз рядом с угольным баком, под лестницей; арендодатель великодушно позволил моим родителям пользоваться этим закутком. Подросши достаточно для того, чтобы спуститься в погреб, я обнаружил:

возле угольного бака родители складывают мои старые игрушки.

Я нашел коричневого плюшевого мишку и жирафа, набитого опилками; я нашел оба конструктора — деревянный и металлический; трехколесный велосипед, ролики и детские книжки, в том числе книжки-раскраски, где еще оставались чистые страницы, будто ждавшие цветных мелков. Открылась тайна исчезновения надоевших игрушек.

До сих пор чую тот запах — смесь сырости и угля (бак стоял возле печи). До сих пор вижу стальной желоб — а эта картинка, в свою очередь, почти моментально вызывает аудиоряд: уголь с грохотом идет по желобу; наш хозяин, мистер Пинкус, открывает печную дверку, шурует кочергой. Остро пахнет отсыревший уголь на лопате, жарко разгорается пламя. Где-то между угольным баком и печью — в погребе моего сознания — хранятся идеи, образы, сцены и сны. Улеживаются во тьме, ждут, пока понадобятся.

Поезда все не было. С хранилища детских игрушек мои мысли перекинулись на маму и папу. Не удивительно ли, что родители обоих — незнакомые между собой — проделали долгий путь через всю Европу, прибыли в Канаду, а оттуда — в Нью-Йорк? Там Бетти встретила Вилли. Вскоре они поженились, а в 1927 году родился

я, их первенец. В том же году Линдберг совершил беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж, а Эл Джолсон сыграл главную роль в первом звуковом фильме¹.

То были годы надежд и крайностей, ныне известные как Эпоха Джаза; понятно, что мои родители, подобно многим другим американцам в первом поколении, посещали вечеринки и отплясывали чарльстон в подпольных барах, где можно было выпить запрещенного джина. Не знаю, куда подевались фотографии — не черно-белые, а оттенка сепии, — с которых грустно смотрит моя мама — темноглазая, молоденькая, подстриженная под мальчика. Помню, я любил, когда она пела что-нибудь однодневное, разученное по песеннику за два цента. Иногда я подпевал. Любимая песня у нас с ней была «Дым слезит твои глаза»².

Вилли еще подростком, в Квебеке, охотился со взрослыми и выучил достаточно английских, французских, русских и индейских фраз, чтобы объясняться со скупщиками меха. Хотя ни он, ни мама толком даже в школу не ходили, я очень рано понял: мои родители высоко ставят образование и ждут от меня успехов.

¹ Фильм «Jazz Singer», кинокомпания «Уорнер Бразерс», реж. Алан Кросланд.

² Ориг. «Smoke Gets in Your Eyes», автор текста Отто Харбах, композитор Джером Керн. Впервые прозвучала в мюзикле «Роберта».

Однако лет в двенадцать-тринадцать я сделал и другое открытие — чем больше я читаю и запоминаю, тем меньше у меня с родителями точек соприкосновения. Я словно терял обоих — словно уплывал в собственный мир книжных историй.

Сколько себя помню, родители внушали, что мне следует учиться на врача. Раз я спросил почему.

— Потому, — ответил папа, — что доктор — он вроде Господа Бога. Он лечит людей; он спасает жизни.

А мама добавила:

— Грудничком ты подцепил гнойный мастоидит в нагрузку к двусторонней пневмонии. Тебя спас один доктор — замечательный человек, настоящий чудесник.

— Мы хотим, чтобы ты сам лечил людей и спасал жизни, — подытожил папа.

Прозвучало убедительно. Я решил: буду подрабатывать, где только можно, поступлю в колледж, а потом в медицинский университет. Стану врачом. Я любил родителей и поэтому похоронил собственную мечту о писательской карьере. Объявил, что сосредоточу все усилия на том, чтобы стать слушателем подготовительных медицинских курсов.

Втайне я думал: может, получится совместить? Я читал, что Сомерсет Моэм тоже закон-

чил медицинский факультет и даже служил корабельным доктором. Антон Чехов изучал медицину, ранние рассказы и наброски печатал под псевдонимом «Врач без пациентов». Артур Конан Дойл, неспособный прокормиться как офтальмолог, использовал пустующую приемную для написания рассказов о Шерлоке Холмсе.

Англичанин, русский и шотландец начинали как врачи, но на перепутье свернули в сторону литературы. Возможно, по их примеру и я сумею исполнить родительскую мечту, не забыв о мечте собственной. Не успел я так подумать, как понял, где в моем плане слабое место. Прежде чем прославиться на литературной стезе, все трое потерпели фиаско в медицине.

Подошел битком набитый поезд. Я втиснулся в вагон. Посидеть не светило. Был час пик, мне предстояло выстоять на ногах все полчаса до Юнион-сквер. Кое-как я выпростал руку, вцепился в белый эмалевый поручень в центре прохода, чтобы не упасть, — поезд нещадно трясло. Пассажиры, озабоченные своими проблемами, избегали визуального контакта. Озабоченный и подавленный не меньше других, я тоже прятал глаза.

Заканчивался мой первый год в университете. «Образование вбивает клин между мною и теми, кого я люблю», — вот о чем я думал.